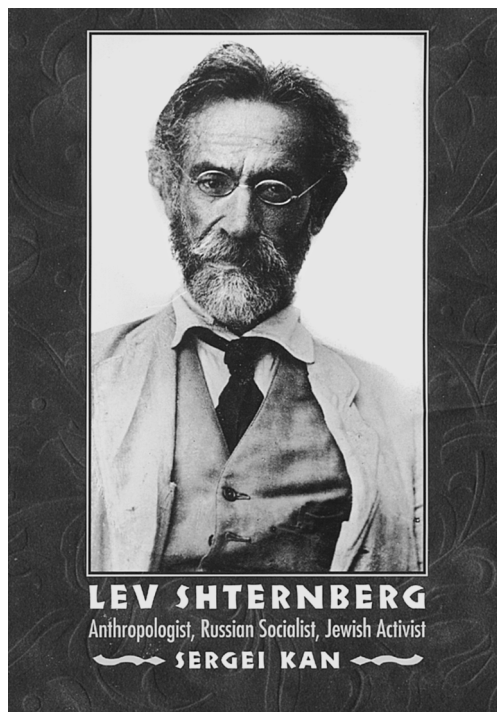


# РЕЦЕНЗИИ

ЭО, 2010 г., № 4

© С.С. Алымов. Рец. на: *S. Kan. Lev Shternberg: Anthropologist, Russian Socialist, Jewish Activist*. Lincoln: University of Nebraska Press, 2009. 550 p., il.



Выход в свет книги Сергея Кана “Лев Штернберг: антрополог, русский социалист, еврейский активист” – значительное событие в историографии отечественной этнологии. Как справедливо замечают Регна Дарнелл и Стивен Мюррей, редакторы серии “Критические исследования по истории антропологии”, в которой опубликована эта работа, существующие истории науки (речь идет, конечно, об англоязычной литературе) часто оставляют вне рассмотрения национальные традиции за пределами англо-французского “центра”, тогда как значительная часть этнографического знания была произведена именно там. И хотя в последнее время под влиянием постколониальной критики историки начинают заполнять этот пробел, на настоящий момент история российской этнографии/этнологии (несмотря на уже имеющиеся работы Э. Геллнера, Н. Найта, Ю. Слезкина, Ф. Хирш и др.) во многом продолжает оставаться для западного читателя terra incognita. Книга С. Кана, несомненно, послужит для него прекрасным введением в мир позднимперской-раннесоветской этнографии и интеллектуальной истории.

Однако не менее, а возможно и более полезна она для российского читателя, и в особенности для этнологов-профессионалов. Вслед за советской традицией безудержного

восхваления отечественной науки последовала постсоветская реакция с жалобами на ее отсталость и теоретическую вторичность. Дело, однако, не в национальной гордости или поиске приоритетов, а в более спокойном и взвешенном подходе к собственному научному наследию, примером которого может служить рецензируемая книга. Помимо прочего, она напомнит отечественному научному сообществу о том, что Россия – одна из старейших “этнографических держав”, и ее научная традиция должна быть внимательно изучена и достойно представлена в контексте более плюралистичной и децентрализованной мировой антропологии.

Монография С. Кана наводит и на менее патристические соображения: хорошо ли известна история российской этнологии даже тем специалистам, кто любит ею гордиться/стыдиться? Много ли в этой области на русском языке исследований, которые могли бы сравниться по историографическому профессионализму и фундированности с этой работой? Документы из 16 архивов России, США, Израиля и Швеции, в которых хранятся письма, дневники, неопубликованные работы Штернберга и его коллег, большое количество периодики и других малоизвестных материалов, – только список использованных автором источников красноречиво свидетельствует об уровне исторического профессионализма данного исследования. Его без преувеличения можно назвать образцом в осуществлении той непростой операции, которую Джордж Стокинг называл контекстуализацией антропологического знания. Кан, начавший изучать Штернберга еще 30 лет назад в семинаре под руководством Стокинга, оказался достойным учеником этого

---

Сергей Сергеевич Алымов – кандидат исторических наук, научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН; e-mail: alymovs@mail.ru

классика истории антропологии. Его интересует не только Штернберг-ученый, но и Штернберг-журналист, писатель, политик, человек. Он показывает, насколько эти “роли” связаны, в особенности в эпоху зарождения профессиональной этнографии, когда Штернберг и его коллеги буквально разрывались между публицистикой, политикой и наукой. Вслед за Стокингом, Дарнелл и другими историками антропологии Кан формулирует свою задачу биографа таким образом: “Внимательно изучая жизнь определенного ученого, историк антропологии может продемонстрировать взаимоотношения между его или ее антропологической практикой и этнологической теорией, с одной стороны, и его или ее происхождением, политическими взглядами и мировоззрением, с другой” (р. XXVII). Действительно, такую многогранную натуру, как герой Кана, невозможно понять вне широкого исторического контекста, и читатель буквально погружается в этот контекст, узнавая попутно массу сведений о всех областях российской жизни, с которыми так или иначе соприкасался Штернберг – от социальной философии и политической практики народников до истории освоения русскими Сахалина, от тонкостей теоретических взглядов ученого до его участия в еврейской политической и культурной активности.

В краткой рецензии невозможно обсудить все стороны рассматриваемой работы. Я попытаюсь выделить наименее известные факты и наиболее важные вопросы для размышления. Жизненный путь Штернберга достаточно хорошо известен отечественному читателю благодаря книге Н. Гаген-Торн, статье А. Сириной и Т. Роон и ряду других работ. Однако в книге Кана многие страницы биографии ученого либо значительно дополнены, либо фактически открыты заново. В наибольшей степени это относится ко всему, что связано с еврейством Штернберга и его деятельности в области еврейского просвещения и этнографии. Как справедливо пишут Сирина и Роон, именно эта сторона жизни и творчества ученого “все еще малоизвестна и требует специальных исследований” (Сирина, Роон 2004: 70).

Определяющее влияние на становление Штернберга как личности оказали две интеллектуальные и культурные традиции: еврейская культура и иудаизм, с одной стороны, русское народничество и европейская радикальная социальная мысль, с другой. В увлечении еврейского юноши социализмом не было ничего удивительного: евреи составляли значительные процент как “Народной воли”, так и более поздних революционных организаций. Однако, если верить Ю. Слезкину, становясь революционерами, они решительно порывали с традициями и верой отцов и стремились к культурной ассимиляции в русском обществе (Слезкин 2005: 181–206). Характерным примером этой позиции может служить ближайший друг и коллега Штернберга В.Г. Богораз, писавший в одной из своих автобиографий: “...с ранней юности я себя считал не только евреем, но также и русским. Не только россиянином, российским гражданином, но именно русским. Человек может прекрасно иметь два национальных сознания...” (Деятели СССР: 442). Штернберг же не только оставался на протяжении всей жизни еврейским националистом, но и сохранял приверженность “своего рода философскому духовному иудаизму”, хотя и не был религиозным в строгом смысле слова. В его тюремных записках молитвы перемежаются с размышлениями о “законах человеческого прогресса”, а по пути на Сахалин, проплывая вдоль побережья Египта, ссыльный народоволец полностью погружается в размышления о судьбе еврейского народа, с героями и пророками которого он любил отождествлять себя в детстве. Наиболее законченным выражением филосемитизма Штернберга стала его статья “Проблема еврейской национальной психологии” (1924), в которой он выделяет такие психологические черты еврейского народа, как рационализм, социальный активизм и оптимизм. Стремление к социальной справедливости, ориентация на достижение ее в этом мире, присущие, по Штернбергу, евреям, выстраивают в единую линию пророков и Маркса, написавшего “новую Библию нашего времени”. Идея построения “царства божьего” на земле заложена, таким образом, в иудаизме и сочетается не только с социализмом, но даже с практикой террора, которую Штернберг отстаивал еще в своих ранних политических статьях: даже Моисей начал свою деятельность с убийства. В завершение анализа указанной работы Кан пишет, что она “демонстрирует, как он (Штернберг. – С.А.) стремился соединить свой эволюционизм, социалистические идеалы и филосемитизм. Эти попытки были не очень удачны, так как его вера в уникальность еврейского народа и иудаизма противоречила его социокультурному эволюционизму. Наконец, это эссе ... показывает, что он оставался верен основным политическим и моральным идеалам юности до конца жизни” (р. 319).

Политические идеалы все же, как показывает Кан, претерпевали определенные изменения: к 1917 г. они стали несколько более умеренными. В терминах партийного спектра тех дней Штернберг находился где-то между кадетами и правыми эсэрами и отстаивал постепенный переход к социализму без анархии и гражданских войн. Политическая/публицистическая активность Штернберга в предреволюционные годы концентрировалась главным образом вокруг

вопросов еврейского либерального движения, однако в 1917 г. открылась новая страница в его общественной деятельности, освещение которой, основанное на анализе неизвестных газетных статей ученого, – одно из интереснейших открытий книги Кана. Штернберг с восторгом принял Февральскую революцию, сравнивая ее в своих статьях в “Еврейской неделе” с исходом из Египта. В последовавших событиях он занял достаточно умеренную позицию, призывая к безоговорочной поддержке Временного правительства и продолжению войны. Он публиковался в основанной правыми эсэрами газете “Воля народа”, резко критиковал большевиков и призывал предотвратить “контрреволюцию слева” (р. 247). Нет ничего удивительного в том, что Штернберг не только не принял Октябрьскую революцию, но и публиковал резкие антибольшевистские статьи, однако после разгона Учредительного собрания и начала репрессий против эсэров он предпочел отойти от политики. Ученый в Штернберге был сильнее политика, тем более что уже в конце 1918 г. открылся Географический институт, в котором главным образом его усилиями была создана возможность столь разносторонней подготовки профессиональных этнографов, которую в то время, по оценке Кана, не мог предложить ни один европейский или американский университет (р. 282).

Все вышесказанное может навести на мысль, что “социалист” и “еврейский активист” перевешивают в книге Кана Штернберга-антрополога. Это, однако, абсолютно не так. Главным контекстом жизни любого ученого является история его науки, и Кан подробно рассматривает все стороны научной и научно-организационной деятельности Штернберга в связи с развитием отечественной и (что особенно важно и в значительной степени ново) мировой этнологии/антропологии. Интересен анализ ранних этапов этнографической работы Штернберга, основанный на его научных статьях, газетных публикациях, полевых записях и письмах. Кан описывает полевой опыт ученого во всей сложности “колониальной ситуации”, в которой ссыльный народник принимал на себя роль “русского начальника” в глазах “туземцев”, которых, в свою очередь, он воспринимал сквозь призму руссоистской романтики и народнической идеализации. Впрочем, при всей симпатии к излечившим его от депрессии гилякам (нивхам) и другим северным народностям Штернберг был достаточно наблюдателен, чтобы замечать у них и черты, не вписывавшиеся в образ “благородного дикаря”. “Как будто два человека писали эти заметки, – замечает Кан по поводу полевых материалов Штернберга, – романтичный интеллигент-народник и проницательный и реалистичный наблюдатель человеческих характеров и поведения” (р. 61).

Анализируя первые этнографические статьи ученого, Кан показывает, что к началу полевой работы Штернберг, в отличие от большинства полеви́ков-народников, имел четкие теоретические взгляды, что позволило ему сосредоточиться главным образом на родстве и социальной организации изучаемых племен. С другой стороны, эволюционизм ученого привел к несколько тенденциозному “открытию” группового брака, а народничество – к идеализированному и умозрительному изображению рода и его роли в жизни нивхов. Тем не менее, по словам Кана, “сочетание исследовательских интересов и длительной этнографической работы делает Штернберга уникальным не только в российской антропологии 1890-х, но и в антропологии в целом” (р. 106). Впрочем, Кан находит аналогии в деятельности, к примеру, В. Спенсера и Ф. Гиллена, экспедиции А. Хэддона на острова Торресова пролива, а также Ф. Боаса. По его мнению, их методы, при всех различиях, имели много общего, однако по причинам исторического свойства американцам и англичанам удалось превратить длительные полевые исследования в институциональную практику раньше и более основательно, чем Штернбергу и его коллегам. Те же исторические обстоятельства, по-видимому, делали эволюционизм более привлекательным для прогрессивных ученых в царской России, что послужило его более длительной популярности, чем в англо-американской традиции.

Ко времени переезда в Санкт-Петербург и устройства на работу в МАЭ Штернберг, как показывают его публикации 1900-х годов, стал еще более убежденным эволюционистом. Последующие исследования не подтвердили многие положения Штернберга, однако на протяжении всей монографии Кан тщательно указывает на те стороны теоретического наследия ученого, в которых он выходил за рамки эволюционистской догмы. К примеру, он пишет о монографии 1904 г.: «По моему мнению, именно детальный и проницательный анализ Штернбергом различных социально-экономических и политических функций и религиозного символизма гиляцкого рода <...> отличает его работы о гиляках от большинства современных им эволюционистских описаний социальной жизни и культуры “первобытных народов”. Хотя Штернберг никогда не ссыался на Дюркгейма и Мосса, его анализ гиляцкого рода, особенно взаимосвязанности между его социальными и символическими измерениями, равно как и гармоничных отношений между группами и индивидами в гиляцком обществе, сильно напоминает “Первобытные классификации” и другие их работы. Это сходство не должно удивлять: как и Штернберг, Дюркгейм

и Мосс были социалистами, искавшими альтернатив капиталистической “органической солидарности” и аномии в “первобытных” обществах...» (р. 128). С другой стороны, Кан показывает, как одна из наиболее новаторских работ Штернберга 1920-х, “Избранничество в религии”, совместилась с эволюционизмом, прослеживая эволюцию религиозности от “первобытных” инстинктов к более “духовным” практикам монотеистических религий: «Центральным для мировоззрения Штернберга – своеобразного сочетания европейской веры в прогресс, русского народничества и еврейского либерализма – было представление о том, что духовно и морально мотивированные действия превосходят действия, проистекающие из “основных инстинктов” и эмоций (таких как сексуальность) и что монотеизм (и в особенности иудаизм) с их упором на веру и мораль превосходит “первобытные религии”, основанные на ритуале и других методах манипулирования сверхъестественными силами» (р. 309).

Кан освещает и многие другие стороны жизни своего героя: музейную работу, роль Штернберга как главы “ленинградской этнографической школы”, его взаимоотношения с коллегами и учениками. Отдельной заслугой автора является подробное освещение отношений Штернберга и других членов “этнотройки” с Ф. Боасом, основанное на материалах российских и американских архивов, а также участие этого наиболее космополитичного из отечественных этнографов в международной научной жизни. В заключение хотелось бы сказать несколько слов о разделах монографии, посвященных “постштернберговскому” периоду советской этнографии и судьбе его наследия. Эти главы оставят у читателя мрачное впечатление: почти все, созданное Штернбергом, по Кану, было уничтожено вскоре после его смерти, а история советской этнографии последующего периода состоит почти исключительно из репрессий и марксистско-моргановского догматизма. Говоря об учениках Штернберга (Е.А. Крейнович, Г.М. Василевич и др.), он описывает главным образом репрессии, а не их научную или общественно-просветительскую работу и почти не упоминает тех, кто репрессиям не подвергся (к примеру, С.М. Абрамзон, А.А. Попов, Л.П. Потапов, Г.Н. Прокофьев). Нет никакого сомнения в том, что сталинские репрессии, а также деятельность людей вроде В. Аптекаря нанесли значительный ущерб отечественной науке, однако в описании 1930-х годов и тем более кратком обзоре последующего периода Кан опирается в основном на литературу, а не на первоисточники. Не слишком приятно отечественным специалистам будет заключение последней главы монографии, в котором Кан пишет о том, что большая часть новаторских и теоретически интересных работ по этнографии России, равно как и истории отечественной этнографии, написана либо западными, либо учившимися на Западе учеными. Не менее скептичен Кан и в отношении российского стиля историографических работ, следующих агиографической традиции и не анализирующих критически собственное научное наследие. Особенно разочаровывает, по его мнению, включение в сборники о репрессированных этнографах статей об “ученых, сыгравших значительную роль в разрушении карьер и даже жизней своих коллег” (р. XVI). Поскольку речь идет, по всей видимости, о Н.М. Маторине, хотелось бы указать на то, что покойный А.М. Решетов, сделавший для восстановления исторической справедливости “репрессированной этнографии” как никто другой много и специально изучавший его биографию, всегда защищал Маторина от подобных обвинений. “Историк не судья и не прокурор, а беспристрастный исследователь происшедших событий”, – написал по этому поводу Александр Михайлович, и хотя абсолютная беспристрастность, конечно, невозможна (и, наверное, и не нужна), первая часть этого утверждения, мне кажется, абсолютно точна (Решетов 2003: 187). В любом случае вряд ли современные историки имеют моральное право на однозначные (о)суждения подобного рода. Впрочем, все эти вопросы, строго говоря, выходят за рамки темы исследования Кана, и было бы неправильно критиковать его за то, чего в нем нет – тем более, что содержащегося материала вполне достаточно, чтобы считать этот труд образцом историографического исследования, блестяще решающим поставленную автором непростую задачу.

### Литература

- Деятели СССР – Деятели СССР и революционного движения России: Энциклопедический словарь Гранат. М., 1989.
- Решетов 2003 – Решетов А.М. Трагедия личности: Николай Михайлович Маторин // Репрессированные этнографы. М., 2003. С. 147–192.
- Сирина, Роон 2004 – Сирина А.А., Роон Т.П. Лев Яковлевич Штернберг: у истоков советской этнографии // Выдающиеся отечественные этнологи и антропологи XX века. М., 2004. С. 49–94.
- Слезкин 2005 – Слезкин Ю. Эра Меркурия. М., 2005.